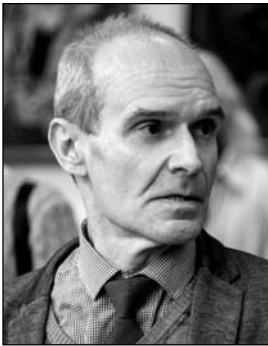


Сергей Попов

САМОТЕЧНЫЕ ДНИ, ТЕНЕВЫЕ ГОДА...

* * *



Сергей Викторович Попов родился в 1962 году в Воронеже. Окончил Литературный институт им. А.М. Горького. Печатался в журналах «Подъём», «Новый мир», «Москва», «Арион», «Интерпоэзия», «Дети Ра», «Литературная учеба» и других. Автор многих книг стихов и прозы. Лауреат Специальной Международной Волошинской премии, Международной премии им. Ф. Искандера, премий «Писатель XXI века», «Кольцовский край», фестиваля конкурса «Русский Гофман» и др. Член Союза российских писателей. Живет в Воронеже.

Ведь бывает, бывает как с гуся вода.
Дай-то бог по привычке приехать туда,

про волшебные спички затеять рассказ,
злополучной отлучке наставить рога.

Но случается так через жизнь, через раз —
потому заморочка вдвойне дорога.

Переломишь — и серную голову прочь,
и забытые сны оживают оплечь

про несносного сына и славную дочь,
про мгновенную ночь и неверную речь.

А другую сломаешь, так маятник вмиг
остановится в маятной памяти их —

и по весям светло, и какое число,
час который, когда в никуда унесло...

Ну а третью, а третью не стоит ломать —
ведь неведомо что разгорится тогда,

заклубится опять — потому исполать
самотечные дни, теневые года,

где гусиными перьями письма скрести
про горячие слезы и скорый приезд

и следить, как стило истлевет в горсти
и червяк молодильное дерево ест.

Адыгейский сыр, сухари, вино.
Все, что будет, — в точности решено.

Молодой киш-миш, черемша, кинза —
велики у будущего глаза.

Широки у Кукольного двory,
здоровая некошенная трава,
и, как будто куклы в пылу игры,
оживают в сумерках дерева.

От крутого перца душа горит,
и слеза от луковых прет колец —
даром язвенный предстоит гастрит
и здоровью в целом грядет конец.

Только это сбудется не теперь,
и отвага в ночь открывает дверь,

где от яростных несусветных фраз
искры сыплются из лукавых глаз.

Там рецепт бессмертия в полный рост
пред очами шалыми предстает,
и рябит в зрачках от горячих звезд,
все до точки знающих наперед

про блаженных баловней темноты,
головокружительный их маршрут,
где застолий бешеные цветы
по-над пропастью на убой цветут.

«Пролетарий», Каменный, Утюжок.
И такси запыхавшийся движок.

И тонка у прожитого кишка
пересилить свои того движка.

И с цветками пепельными во рту
колесить по памяти широки,
за ее невидимую черту
заезжают запросто едоки.

И несется с кухонь забытый дым,
и наборы специй шибает в нос,
где, до безобразия молодым,
каждый третий вскоре слетел с колес.

А другие, пепла набравши в рот,
не вписались в нынешний разворот

по причине кухонного огня,
что черней и ярче день ото дня.

И никак не пишется общепит
в галерею трапез на кураже —
шаурма кобенится и шипит,
но повсюду соус иной уже.

И трава пострижена во дворах,
свет уложен в новые фонари.
И витрины прелестей в пух и прах
на Броду наряжены изнутри.

И едва ли кто-то притормозит —
у машины времени свой транзит,

где чадят харчевни вослед пирам
и безумству стыд надлежит и срам.

* * *

Сколько оттуда лишнего —
в нынешнем кровожадном...
Брызги восторга лыжного,
чайный огонь под шарфом,
в белом — обрывки рыжего
по-над лесным ландшафтом.

Кто-то сказал, что лиственной
ржавчиной сердце живо...
Холод над скользкой истиной
крепнет неудержимо,
свет пламенеет пристальный —
дрожь от его нажима.

Сучья оплечь да просеки,
встречных полозья санок...
Помнишь, как мы, беспросники,
вышли на полустанок?

Отогревались, видели
ржавый закат в оконце...
Лишним в ночной обители
выдалось наше солнце.

* * *

Зарывался в ясное и простое —
забывал перчатки, глядел налево,
западал на песни времен застоя
после алкогольного перегрева.

Закрывался в тесной своей хибаре,
вырубал мобильник, врубал Динрида,
чтобы здешние не шептались твари
о вальтах отвязного индивида.

Чтоб не сыпался весь порядок линий,
в партитурах не кувыркались ноты,
он повязывал галстук себе павлиний
и кошмарил призраков до икоты.

Те шарахались по углам и дырам,
подвывали нехотя бэк-вокалу...
И обрывки смысла неслись над миром,
растворяясь в звуках мало-помалу.

Он торчал и бредил о том, что худо-
бедно гармония держит марку,
и его безбашенная причуда
для пустого сердца сродни подарку.

Брюки-клеш, ботиночки на платформе —
чтобы Хронос офонарел от злости.
Ведь не все же париться о прокорме
да исправно мыть недоумкам кости.

Погружался в бешеное и злое,
сокрушался — вот и крушил, что рядом:
разукрупнял посуду, ломал алоэ,
воспламенял радиолу взглядом.

И тогда долбили соседи в стену,
у двери полиция бесновалась...
Он прекрасно знал фараонам цену,
но ежу понятно, что трясся малость.

Понимал, что если сама эпоха
к постояльцу ломится одичало,
значит, с нею непроходимо плохо,
как бы та победы не отмечала.

Как бы речи не городила лихо,
все душа от музыки фанатела...
В райотделе дурь и неразбериха —
оттого гармонии нет предела.

* * *

Серобородый старик на приколе.
Складная исповедь девочки Оли.
Туч ледяная семья.
Длиться бы перечню, только доколе
сдюжит сурдинка своя.

Звездчатый вырез в бордовом картоне.
Паховый выем на школьном фантоме.
Краска вина «Карабах».
Ветер резвится в пустой идиоме
про молоко на губах.

Мышь молодильное дерево рушит.
Речь с непотребною глоткою дружит.
Время стучит наобум.
Лип станционных продрогшие души
в мокрый сливаются шум.

Верткий орешек пока не разъеден.
Едем? А как же? Немедленно едем.
Пыльные стекла — щекой.
Мусорным бакам и галкам-соседям
нету беды никакой,

что кровожадные травы кривые
съели значенья свои корневые
и с подоплекой земли
мы бездорожным отъездом впервые
всласть расквитаться смогли.

* * *

Заехать в лес и рухнуть ниц —
все горе — не беда...
Кругом чащоба без границ,
паслен и лебеда.

Распад пути, уход в траву,
в прикорневую глушь —
рассудок это наяву
переварить не дюж.

И сон по стеблям тишины
цветет над головой...
И обещанья не слышны
последней мировой.